

Следует добавить, что в отношении Достоевского ко все повторяющимся покушениям на Александра II тоже имела место некоторая перемена. Весть о выстреле Каракозова довела его почти до истерического состояния: в квартиру поэта Аполлона Майкова он «опрометью вбежал... на нем лица не было, и он весь трясся как в лихорадке. „В царя стреляли“, — вскричал он, не здороваясь с нами... „Убили?“ — закричал Майков каким-то нечеловеческим, диким голосом. „Нет... спасли... благополучно... Но стреляли... стреляли... стреляли... стреляли“»<sup>23</sup>. Не менее потряс его год спустя выстрел в Александра II, во время посещения царем Всемирной выставки в Париже, польского эмигранта Антона Березовского<sup>24</sup>. Но в период работы над «Братьями Карамазовыми», как мы видели из рассказа Суворина, к очередному покушению он отнесся уже не только как-то эпичнее, но и несколько по-иному.

Особенно знаменательна в этом отношении более ранняя, чем «Отрывки из воспоминаний», запись Сувориным в своем дневнике 28 сентября 1899 г. о той же встрече с Достоевским в день покушения Млодецкого и более сжатое изложение начала их разговора о «политических преступлениях» (в печатную публикацию «Дневника» она не вошла): «Мы разговорились о разных разностях политических. Тогда только и разговора было что о покушениях и т. д. Зимний дворец только что был взорван. Достоевский говорил о том, что мы все ужасно неискренни и лицемерны, что в сущности мы сочувствуем всем этим покушениям и только притворяемся».

— Ну, напр<имер> представьте, вы или я, мы стоим у магазина Дациаро и слышим, что нигилист говорит другому, что через десять минут Зимний дворец будет взорван. Пошли бы вы предупредить? Едва ли. Я сомневаюсь. А уж схватить этих нигилистов или указать на них полиции, да это и в голову не пришло бы. А ведь мы и сами вот негодуем против этих преступлений и говорим против них. Что же другие? Другим и подавно до этого дела нет»<sup>25</sup>.

Вместе с тем в «Братьях Карамазовых» проявляется не только нисколько не ослабевающая по ходу романа, но даже по существу усиливающаяся горячая симпатия автора к своему герою. Одновременно с этим в признаниях самого Алеши братьям и даже Лизе Хохлаковой настойчиво подчеркивается, что ничто «карамазовское» потенциально ему не чуждо. Но свой карамазовский максимализм — «безудерж» — он направляет на высокую, благородную цель — свершение подвига, однако подвига «скорого» (слово, которое в контексте, несомненно, несет оттенок порицания и даже осуждения).

Помимо всего этого, Алеша, несмотря на пережитый тяжкий духовный кризис, атеистом все же не стал и потому не был увлечен чуждым, как считал автор, — «напыльным» — ветром, не сделался «социалистом» западного типа. Во втором романе в его лице, очевидно, должна была предстать некая — «достоевская» — разновидность революционера-народника, сохранившего веру в бога, но, по формуле Ивана, осуждающего несправедное устройство мира (страданий и горя «созданных для радости людей») и готового, чтобы хоть как-то исправить это, самоотверженно, словно бы повторяя дело Христа, принести себя в жертву — пойти на «политическое преступление». Тема жертвенного подвига во имя правды (вспомним слова в наброске предисловия к «Бесам», что это «народная черта», «национальная черта поколения») вообще является ведущим мотивом последней части «Братьев Карамазовых». Готов понести свой «крест» безвинно осужденный на каторгу Митя, ибо в итоге тяжких переживаний при-

<sup>23</sup> Вейнберг П. И. Из моих воспоминаний. «Былое», 1906, IV, 4 апреля 1866 г.

<sup>24</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания, М., «Художественная литература», 1971, стр. 156—157.

<sup>25</sup> ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 2, ед. хр. 140, л. 393. Разрядка моя. — Д. В.